

И много таких доброжелательных речей услышал я. У кого сестра, у кого жена или брат, а кто и сам пострадал, и всякий предупреждает: „не ходите“.

И всякому я отвечал:

— Пустое. Выдержу!..

...Прежде всего сознаюсь, что ни я, ни мой храбрый спутник не выдержали. До половины первого акта мы еще сохраняли какое-то смутное представление о декорациях, актерах и неясно подозревали в себе зрителей, но еще не кончился акт и не опустился занавес, как мы перестали быть зрителями и сами, с нашими афишками и биноклями, превратились в действующих лиц драмы. Никогда ни один театр не поднимался до такой высоты, настолько переставал быть театром, как этот. Временами он переставал даже быть художественным, ибо и для искусства есть граница, за которой оно перевоплощается в жизнь и входит в нее, как один из ее основных элементов. История о трех сестрах, рассказанная А. П. Чеховым устами артистов Худ. театра, — не вымысел, не фантазия, а факт, происшествие, нечто столь же реальное, как выборы в кредитном обществе. Мне и до сих пор жалко господж Савицкую, Книппер и Андрееву, и что бы они потом ни играли, я ни за что не поверю им и не перестану их жалеть. Бедные, милые сестры.

В свое время критики находили крупные недостатки в драме, рецензенты в ее исполнении, но я не критик и не рецензент, я просто профан и искренний человек и никаких недостатков не видал.

...Я видел жизнь. Она волновала меня, мучила, наполняла страданием и жалостью — и мне не стыдно было моих слез. И мой храбрый спутник плакал, не скрываясь, и куда я ни смотрел, всюду видел я мелькающие носовые платки и потупленные головы, а в антрактах — красные глаза и носы. Серая человеческая масса была потрясена, захвачена одним властным чувством и брошена лицом к лицу с чужими человеческими страданиями. Человек шел в театр повеселиться, а там его, как залежавшийся тюфяк, перевернули, перетрясли и до тех пор выколачивали палкой, пока не вылетала из него вся пыль мелких личных забот, пошлости и непонимания. Да, повидимому, мы еще не совсем привыкли к театру и сила его внушения бесконечно велика.

Когда после окончания пьесы я выходил из театра, это был единственный случай, когда вполне безнаказанно у меня могли переменить калоши, надеть на меня дамскую ротонду и шляпу — я ничего бы этого не заметил. И первые слова, какими обменялись мы с спутником, очутившись под звездным небом, были таковы:

— Как жаль сестер! Как грустно!.. И как безумно хочется жить!

И целую неделю не выходили у меня из головы образы трех сестер, и целую неделю подступали к горлу слезы, и целую неделю я твердил: как хорошо жить, как хочется жить! Результат чрезвычайно неожиданный как для добрых людей, предупреждавших меня о необ-

ходимости убрать соблазнительные крюки, так и для меня самого. „Три сестры“, слезы, уныние — и вдруг: жить хочется! Однако, это верно — и не для меня одного, а для многих лиц, с которыми мне пришлось говорить о драме...

— В Москву. В Москву!

Как солнечный луч из-за облака, как золотистая нить, пронизывает этот ключ серую мглу и непобедимо живет в трех женских сердцах.

Не верьте, что „Три сестры“ — пессимистическая вещь, родящая одно отчаяние да бесплодную тоску. Это светлая, хорошая пьеса. Сходите пожалейте сестер, оплачьте вместе с ними их горькую судьбу и на лету подхватите их призывный клич:

— В Москву!

— В Москву. К свету. К жизни, свободе и счастью!“.

Что значил Худ. театр для этой толпы, — еще одна иллюстрация: когда москвич-зритель узнал о том, что „Юлий Цезарь“ больше не пойдет, что наступают последние спектакли этой постановки, на страницах московской прессы появились характерные строки:

„На-днях погибнет крупное художественное произведение, находящееся в Москве. Погибнет вследствие того, что для него нет места. И нам об'явят: сегодня и еще через три дня вы будете иметь возможность последний раз посмотреть это создание искусства. Затем оно для вас исчезнет.

Меня это известие глубоко уязвило в самое сердце.

Погибнет Рим. Погибнут улицы, храмы. Погибнут Капитолий, форум, здание сената, сад Брута. Исчезнет полная мистического ужаса, бороздящая и небо, и землю грозовая ночь над вечным городом. Не станет пестрой, разнообразной толпы, стекающей сюда со всех концов мира. Не станет ни рабов, ни граждан, ни сенаторов, ни триумфиров, отойдет в область дорогих воспоминаний изумительная фигура слабого в беспредельном величии и трусливого в сверхчеловеческой храбрости Юлия, — фигура, выкованная из золота и высеченная из паросского мрамора чудесною рукою молодого, славного артиста. Не верится, чтобы эта фигура была создана современностью. Она целиком вышла из тьмы времен, десятки веков наложили на нее свой угрюмый отпечаток.

Все это исчезнет. Седьмого и десятого марта „Юлий Цезарь“ будет поставлен в последние два раза — и уже более не возобновится. Декорации к нему будут проданы, и вторично шестидесяти тысяч на его постановку не затратят.

...Уничтожается „Юлий Цезарь“, тот самый „Юлий Цезарь“, который стал сокровищем Москвы.

Когда приезжие в Москву знакомые спрашивали меня, на что им здесь посмотреть, я перечисляя Третьяковскую галерею, всякие музеи, памятники старины, говорил: